

## Чувство родины

Среди привычных для Бродского речевых оборотов был такой: когда собеседник употреблял в разговоре оборот «у нас» в смысле «в стране, где мы живем» («у нас начальство что хочет, то и делает», «у нас за стишок посадить могут» или «у нас не принято ходить в гости без бутылки» и т. п.), Бродский не упускал случая перебить саркастическим – «у вас». Сарказм был наигранный, шутливый, но почти автоматизм, с которым эта реплика произносилась, напоминал о принципиальной позиции – не допускать ни малейших уступок всепроникающей идеологии коллективизма. Тем более были поражены первые читатели стихотворения «Остановка в пустыне» необычным, казалось бы, для Бродского употреблением местоимения «мы»:

forest of hands], он провидит спонтанное и единодушное проявление политических чувств, совершенную в своей гармонии *civitas* [гражданская община], построенную по партийным предначертаниям. [...] Бродский [...] пишет о рефлексивной, автоматической реакции партаппаратчиков, «единодушно одобряющих» очередную прихоть диктатора» (*Hecht A. The Hidden Law: The Poetry of W. H. Auden. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1993. P. 129*).

322 СИБ-2. Т. 7. С 62-71.

323 Там же. Т. 5. С. 275.

Теперь так мало греков в Ленинграде,  
что мы сломали Греческую церковь,  
дабы построить на свободном месте  
концертный зал.

Здание, некогда бывшее храмом греческой православной общины Петербурга, было обречено ленинградскими властями на слом, и на его месте к 50-летию Октябрьской революции, в 1967 году, построили концертный зал. О безобразии новостройки речь идет в первой строфе. Разрушенная Греческая церковь тоже не отличалась архитектурными достоинствами, и хотя о том, что привычное старое здание заменили безобразной новостройкой, многие сожалели, такого взрыва бессильного негодования, какое вызвало пятью годами раньше разрушение церкви Успения Пресвятой Богородицы, так называемого «Спаса-на-Сенной» (архитекторы Растрелли и Квасов), среди интеллигенции не наблюдалось. Медитация Бродского не на тему охраны памятников старины, а по поводу символизма случившегося – расставания России с христианством и в то же время с эллинистическим культурным наследием. Под русской историей подводится «безобразно плоская черта». «Мы», избранное Бродским в качестве субъекта медитации, выглядит парадоксально в начале стихотворения, ибо решение об уничтожении старого здания и строительстве нового принималось теми самыми ленинградскими бюрократами, которые ожесточенно преследовали поэта. Но по ходу стихотворения становится ясно, что речь идет не об очередном преступлении советского режима против культуры, а о коллективной вине нации, выделившей из себя этот режим и отказавшейся от исторической альтернативы – принять греческое наследие с неотъемлемой от него демократией. «Остановка в пустыне» заканчивается кодой, состоящей из ряда обращенных в будущее вопросов, и эти вопросы задает не «я», автор, сидевший «на развалинах абсиды», когда разрушали Греческую церковь, а «мы». «Я» беспрепятственно переходит в «мы» в конце стихотворения:

Сегодня ночью я смотрю в окно  
и думаю о том, куда зашли мы?  
И от чего мы больше далеки:  
от православья или эллинизма?  
К чему близки мы? Что там впереди?  
Не ждет ли нас теперь другая эра?  
И, если так, то в чем наш общий долг?  
И что должны мы принести ей в жертву?

Еще острее мотив ответственности за исторические деяния отечества проявляется у Бродского как сугубо личное чувство стыда, позора. На вопрос, были ли в его жизни моменты, когда ему сильно хотелось убежать из России, он ответил: «Да, когда в 1968 году советские войска вторглись в Чехословакию. Мне тогда, помню, хотелось бежать куда глаза глядят. Прежде всего от стыда. От того, что я принадлежу к державе, которая такие дела творит. Потому что худо-бедно, но часть ответственности всегда падает на гражданина этой державы»<sup>324</sup>. Он откликнулся на оккупацию Чехословакии сатирическим «Письмом генералу Z.» (КПЭ), герой которого, старый солдат империи, отказывается воевать: «Генерал! Теперь у меня – мандраж. / Не пойму, отчего: от стыда ль? От страха ль?» Непосредственнее это чувство выражено в «Стихах о зимней кампании 1980 года» по поводу последней империалистической авантюры советского государства:

Слава тем, кто, не поднимая взора,

шли в абортарий в шестидесятых,  
спасая отечество от позора!

(У)

Через два года после «Остановки в пустыне» в стихотворении «Аппо Доміні» Бродский прямо говорит, в чем вина каждого за дурной конец отечественной истории – в конформистском стремлении быть «как все», в отказе от индивидуализма<sup>325</sup>. Коллективизм – это отказ и от божественного предопределения («отошли от образа Творца»), и от самой жизни:

Все будут одинаковы в гробу.  
Так будем же при жизни разнолики!

(ОВП)

Если мы («мы») выбираем безликость и бездействие, то это значит, что мы обменяли право судить на уютное существование:

...отчизне мы не судьи. Меч суда  
погрязнет в нашем собственном позоре:  
наследники и власть в чужих руках...  
Как хорошо, что не плывут суда!  
Как хорошо, что замерзает море!

Мотив родины в политической лирике Бродского шестидесятых – семидесятых годов – это всегда мотив остановки движения, замирания жизни, энтропии. В политический дискурс его соотечественников термин «застой» войдет только два десятилетия спустя. В гражданской поэзии прошлого процветала риторика, у Бродского историко-политические темы представлены зримыми, детально проработанными, но по существу метафорическими картинками. Это – сковавший городскую жизнь мороз в «Речи о пролитом молоке», «Конце прекрасной эпохи», «Похоронах Бобо» и некоторых других вещах, имеющих фоном непосредственную ленинградскую реальность. Или непроходимое тропическое болото в фантастическом пейзаже «Письма генералу Z.»: «Наши пушки уткнулись стволами в грязь...» Или залихватское столкновение двух аллегорий в главе «Император» стихотворной новеллы «Post aetatem nostram»: жестокий запор императора и застопоренный исторический процесс.

Все вообще теперь идет со скрипом.  
Империя похожа на трирему  
в канале, для триремы слишком узком.  
Гребцы колотят веслами по суше,  
и камни сильно обдирают борт.

Мы говорим об историко-политических стихах Бродского как о лирике, потому что даже в стихах с преимущественно политическим сюжетом центральную роль играют автор и его душевные состояния. Такой субъективный лирический подход к политике характерен для самых разных поэтов двадцатого века, чье творчество впечатляло Бродского, – для Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Одена. У последнего в «1 сентября 1939 года» сентенции по поводу трагического состояния мира так пронзительны оттого, что они

325 В советском бытовом употреблении «индивидуализм» приравнивался к эгоизму. Бродский был последовательным индивидуалистом и не менее последовательным альтруистом. Соответственно, здесь слово «индивидуализм» употребляется для обозначения интеллектуальной самостоятельности и моральной ответственности за все свои действия, в том числе и коллективные действия, в которых индивидууму приходится участвовать.

произносятся не из «надмирной ваты», а испуганным голосом одинокого поэта, который сидит «in one of the dives / On Fifty-Second street, / Uncertain and afraid»<sup>326</sup>. В девятнадцатом веке существовала определенная граница между лирикой и гражданской риторикой в поэзии. В этом одна из причин двойственного отношения Бродского к Тютчеву: «Тютчев, бесспорно, фигура значительная, но при всех этих разговорах о его метафизичности и т. п. как-то упускается, что большего верноподданного отечественная словесность не рождала. <...> Что до меня, я без – не скажу, отвращения – изумления второй том сочинений Тютчева читать не могу. С одной стороны, казалось бы, колесница мирозданья в святилище небес катится, а с другой – эти его, пользуясь выражением Вяземского „шинельные оды“»<sup>327</sup>.